

М. БУБЕР

ВСТРЕЧА С МОНИСТОМ*

Недавно я познакомился с Монистом.

С первого взгляда я понял, что это прекрасный человек. Достижение этого качества, заметим, существенно облегчается монизмом. Для нас, прочих это доставляет затруднение.

— Вы мистик, — сказал Монист и посмотрел на меня скорее с сожалением, чем с укором. Так я представляю себе Аполлона, который побрезговал спустить шкуру с Марсия. Ведь он даже опустил вопросительный знак. Но голос его был дружелюбным. Он сумел быть одновременно колко-утонченным и приветливым.

— Да нет же, я рационалист, — возразил я.

Он пришел в замешательство.

— Но я полагал... — выговорил он.

— Да! — подтвердил я. — Это единственное из моих мировоззрений, которому я позволил развиваться до «изма». Я стою на том, что *ratio* способно все воспринять, все переработать и понять. Ничто не может ему противостоять, укрыться от него. Я нахожу, что это прекрасно. Только не останавливаться на середине, никаких компромиссов и недоделок! Ничего не пропускать, ничего не щадить, ничего не принимать без должных оснований! Только тогда оно выполняет свою задачу, когда выполняет ее полностью. Оно берется за мир и ставит все на свои места. Это же шедевр всех времен — этот рационализированный мир. Мир без зазоров и противоречий. Мир как силлогизм.

— Но, ведь... — возразил он.

— Именно так, — перехватил я инициативу. — Вы, вероятно, сформулировали бы это иначе. — Например: мир — это ряд полной индукции. Хорошо, не возражаю, это в любом случае не главное. Главное, чтобы дело было доведено до конца! А то есть такие, которые смазывают все границы. Таких типов я не люблю. Но Вы мне нравитесь. Однако, несмотря на все,

* Перевод выполнен по источнику: *Buber M. Mit einem Monisten // Buber M. Ereignisse und Begegnungen. Im Insel-Verlag zu Leipzig, 1917. S. 22-36.* Из книги М. Бубера «События и встречи». Эта часть книги написана в 1907 г.

Вы для меня недостаточно совершенны. Где-то Вы все-таки допускаете стыдливую телеологию. Этого быть не должно. Если человеческая воля абсолютно детерминирована внешними обстоятельствами, то не имеет значения, что человек не обращает на это внимания, представляет будущее зависящим от его воли и полагает, что он сам и есть источник, а не безличный процесс: в терминах же Вашего идеала, то есть полной индукции, он должен быть несвободным. Таким же он должен быть и для Вас.

— Но, позвольте... — вставил он.

— Конечно, — ответил я, — мораль... Но это не может повлиять на мое пристрастие к безудержному рационализму. Я представляю его себе как мелкаячеистую сеть, которая улавливает все феномены, и ни один из них не может выскользнуть из нее. Только обойдитесь без души! «Сведите» ее к чему-нибудь, да так, чтобы она не смогла вернуться назад! Придавите ее к стене! Нельзя терпеть ничего такого, что могло бы уклониться от Ваших приказов, выстраивающих мир в строгий ряд! Не успокаивайтесь до тех пор, пока мир под Вашим испытующим взглядом не выровняется как хорошо построенный каталог. И тогда Вы докажете, что дух господствует над всем и стоит ему послать любую из своих дочерей, и она свяжет весь этот мир и отца в придачу. И так это будет снова и снова, из рода в род. Пока он опять не поднимет палец — и все оковы падут, и карточки Вашего каталога разлетятся в бешеной буре.

— Вот, оказывается, как... — констатировал он раздраженно.

— Да, — подтвердил я. — И ничего не отрицаю: Вы меня раскусили. Да и ждать нам ничего не надо. То, что должно происходить время от времени в человеческом мире, постоянно происходит в самом человеке. Когда мы очерчиваем круг миропонимания и разоблачаем всякое мышление как форму энергии и любую волю как форму причинности, тогда из этого круга вдруг вылетает с пением жаворонок нашего Я. Вы расчленили и делили Я, а оно в неприкосновенности парит над Вами, не обращая внимания на все Ваши уловки. Вы можете пытаться представить мою душу как зыбкое соединение движений, а она живет и ощущает: красоту ночи, особенно чутко — страдания ребенка. А когда она спит, все Ваши формулы и расчеты летают как ночные насекомые вокруг ее огненных сновидений. Вы можете проанализировать химические элементы, из которых я состою, те изменения, которые происходят с моим телом, законы, которые принуждают меня вести себя так, а не иначе. Вот я — неповторимая единственность, я — приступаю к деятельности, принимаю решения, я и элемент, и изменение, и закон. И молнии творения бьют там, где начинаются мои руки. Мне нравится слышать, из какого вещества я состою, потомком каких животных я являюсь, какими функциями я порабощен, —

мне интересно это слышать, и мне это глубоко безразлично, раз уж я способен мыслить бесконечное, осмеливаюсь прозревать вечное и, будучи вплетен в него, знаю себя как его частицу. Было время, когда на земле не было человека — эту весть я воспринимаю, но не понимаю этого языка, когда мне из пламени переживаемого в лицо ударяет вечность. О том, что земля когда-нибудь остынет и человек исчезнет с ее лица, я с интересом слушаю — и тотчас же забываю, мне это глубоко безразлично, если мой порыв вливается в бесконечное становление. В этом заключается замечательный парадокс нашего бытия: всякая понятность мира имеет в качестве оборотной стороны его непонятность. Но эта непонятность дарит нам новое, замечательное познание; оно такой же природы, как познание Адамом его жены Евы. То, что недоступно для самого компетентного и искусного соединения понятий, достигается путем смиренного и точного всматривания, распознавания и усвоения сути вещей. Мир не может быть понят, но может быть объят (*umschlingbar*), объят хотя бы одним из населяющих его существ. Каждая вещь и каждое существо обладают двойственной природой: пассивной, воспринимающей, доступной обработке и расчленению, сравнению, соединению, рационализации, и другой — активной, невосприимчивой, недоступной никакой обработке и расчленению, сравнению, соединению, рационализации. Эта сторона и есть то, что выступает в вещах нам навстречу как формообразующее начало. Тот, кто действительно познал предмет, да так, что самость предмета выступила ему навстречу и объяла его, познал в этом предмете весь мир.

— Так Вы все-таки мистик, — молвил монист, когда я прервал свою речь, и улыбнулся. Почему? Потому ли, что, наконец, получил слово? Или же потому, что оказался прав? Или же монисты просто не могут не улыбаться, когда такие типы как я разоблачают себя как неисправимые реакционеры, после долгого притворства.... Давайте не искать мотивы, а радоваться каждой человеческой улыбке, если она не злобная.

— Нет, я не мистик, — ответил я и дружелюбно взглянул на него, — потому что придаю *ratio* определенное значение, в котором ему отказывают мистики. Кроме того, мне не хватает способности отрицать. Я способен к отрицанию только состояний, но не самонаименьших вещей. Мистику же действительно (или мнимо) удастся уничтожить и убрать весь мир или что он под этим понимает, все, что ему являют чувства и память, чтобы с помощью новых чувств, свободных от телесности или с помощью сверхчувственных способностей постичь своего Бога. Для меня же крайне важен именно этот мир, эта полная страданий и прелести полнота всего того, что я вижу, слышу, ощущаю. Я не могу желать, чтобы эта

действительность потеряла что-то из своей полноты, напротив, я хотел бы, чтобы эта полнота возрастала. Ведь что она такое? Соприкосновение невыразимого круговращения вещей и воспринимающих способностей моего разума. Это нечто иное и нечто большее, нежели колебания эфира и нервный ток, нежели ощущение и соединение ощущений. Это — телесно-воплощенный дух. И действительность переживаемого мной мира тем могущественнее, чем непосредственнее я переживаю ее — и тем самым воплощаю. Действительность — это не застывшее состояние, а величина, способная возрастать. Ее степень функционально зависит от интенсивности нашего переживания. Существует некая низшая степень проявления действительности, которой вполне достаточно для того, чтобы сравнить и расклассифицировать вещи. Но нечто совсем иное являет собой «большая действительность». Могу ли я соединить ее с моим миром, иначе как воспринимая видимое, слышимое, осязаемое всеми своими способностями? Иначе, чем склоняясь со всей силой (*Gewalt*) и рвением (*Inbrunst*) над переживаемым предметом, чтобы растопить оболочку пассивности своим огнем, пока мне навстречу не выступят сущность и форма вещи, ее дарящее начало, которое объемлет меня так, что я познаю в нем мир. Действительный мир — это открытый, познанный мир. И мир не может быть познан нигде кроме как в самих вещах и иначе, чем с помощью деятельного духа любящих.

— Да, но тогда... — возразил монист.

— Нет, нет, — запротестовал я. — Вы ошибаетесь. Тут нет никакого совпадения с основами Вашего учения. Потому что любящий — это тот, кто способен понять любой предмет безотносительно к другим предметам. Ему не приходит в голову ставить переживаемый предмет в связь с другими, так как в этот момент ему не дано ничего иного, кроме этого, любимого, заполняющего мир так, что он и мир неразличимо совпадают друг с другом. Там где вы ретиво выискиваете общности и вставляете их в уже готовые категории, любящий, наделенный даром соединять сны, мечты и бодрствование, прозревает моменты *необщности* (*das Ungemeinsame*). Именно это и есть тот гештальт, та самость вещи, которые обладают творческой способностью, и которые вы не можете впихнуть в ваше понимание мира. То, что вам удастся выделить, а затем соединить, — это вечная пассивность вещей. А вот их активность, их действующая действительность открывается только любящему, который их познает. Именно так познает он Мир. В чертах того, что он любит, чью самость он ощущает, он прозревает загадочный лик Универсума (*Angesicht des Alls*).

Настоящее искусство — это искусство любящего. Тому, кто занят таким искусством, открывается тайный гештальт вещей, который не яв-

лялся никому до него. Но и он не видит этот гештальт, но чувствует его очертания своими членами и ощущает биение другого сердца около своего. Так он познает великолепие вещей, которое он призван восхвалять и открывать другим людям.

Подлинная наука — это наука любящего. Тому, кто занимается такой наукой, выступает навстречу — поскольку он познает некие вещи Мира — тайная жизнь этих вещей, которая до него никому не открывалась, и он познает ее, будучи переполнен этим событием до границ своего бытия. Затем он истолковывает познанное в ясных и плодотворных понятиях и празднует то несравненное, что ему явилось, с благоговением.

Подлинная философия — это философия любящего. Тому, кто занимается такой философией, открывается — поскольку он познает Мир — тайный смысл, закон вещей, который не был открыт никому до него. И открывается не как некий предмет (см. прим. 1), но так, как если бы ему с потрясающей силой открылся смысл всей его жизни, всей его судьбы, смысл всего его страдающего и возвышенного мышления. И тогда он примет закон вещи, который он понял, послушно и одновременно творчески, и определит его место в качестве закона Мира. Это значит, что в данном случае он не нарушил меры, но поступил с достоинством.

Каждое подлинное деяние — деяние любящего. Оно берет свое начало от соприкосновения с объектом любви и включается в мировое единство. Каждое истинное деяние стремится воссоздать из переживаемого целостность мира. Единство — это не отдельное свойство мира, но его стремление. Воссоздать единство мира — это бесконечная задача.

И ради этого монизма, мой дорогой Молист...

Он встал и протянул мне руку. Мы посмотрели друг другу в глаза.
Давайте верить в человека!

Примечания

1. В данном случае Бубер использует семантические возможности, проистекающие из слов *das Ding* и *der Gegenstand*. В обычном употреблении они обозначают приблизительно одно и то же: «вещь, предмет». Очевидно, автор хочет подчеркнуть следующее: *das Ding* — предмет познания, включающий в себя творческие потенции, тогда как *der Gegenstand* — просто нечто противопоставленное, противостоющее (*Gegen-stand*) мышлению. — *Прим. перев.*

Пер. А.Н. Портнова

М. БУБЕР

ДЕМОН ВО СНЕ

Из книги «События и встречи»*

Нет ничего ужаснее человека

— Что видишь ты? — спросил демон в моем сне.

— Длинную стену, — отвечал я.

— Это пограничная стена между царством вещей и царством мыслей.

На этой стене мы и живем. Тебе она кажется узкой и неудобной, не правда ли? Но для нас она достаточно широка и удобна. И мы любим свой дом. Я позволю себе предположить, что у нас с этим обстоит дело даже лучше, чем у вас, думающих, что ваш дом и там, и тут, а в действительности он нигде.

И вообще, вы, люди! Вы воображаете, что эта стена — всего лишь граница; в определенном смысле она даже и не существует, и на ней невозможно ни сидеть, как я сейчас сижу, ни танцевать, как я танцевал мгновение назад. Вы воображаете себе такие глупости, потому что вы ничего не знаете о нас. А если ничего не знаешь о нас, то как можно что-то знать о мире и о самом главном в нем: об этой стене?

Вы ничего не знаете о нас, только догадываетесь. Ах, уж эти ваши догадки! От них тошнит всех и все: демонов, вещи, мысли. Вот из темноты к тебе протягивается щупальце, покрытое слизью. К тебе, мимо тебя, фу, человек, как неаппетитно! Пусть я лучше буду деревянным пнем и буду знать только самую малость, чем все эти ваши догадки.

Итак, вы только догадываетесь о нашем существовании. А вот мы вас знаем — знаем о вас все. Мы знаем вас лучше, чем что бы то ни было иное. Вы для нас важнее, чем все остальное. Да, — я неохотно в этом признаюсь — мы прямо-таки зависим от вас. Потому что мы живем за счет вас. Силу мира мы можем воспринять только через вас. Всем на свете мы можем наслаждаться только благодаря вам. Ваши переживания — наша пища, другой у нас нет.

Чем полнее вы живете, тем больше мы наслаждаемся. Чем именно наполнена ваша жизнь, нас не очень трогает. Пусть это будут триумф,

Перевод выполнен по источнику: *Buber M. Der Dämon im Traum // Buber M. Ereignisse und Begegnungen. Im Insel –Verlag zu Leipzig, 1917. S. 77-90.* Этот текст написан осенью 1914 г.

гнев, грех и святость, героизм и отчаянье. Для нас важно, сильно или слабо вы это переживаете. Ваша умеренность и сдержанность застревает у нас в горле как сухой кусок хлеба. Но если человек возмущен миром, и пытается его изменить, и разбивает себе лоб о стену всеобщей тупости, или если он безумно влюблен, и это не знающее границ чувство придает ему все новые силы, и он влюбляется все сильнее и сильнее, пока не начинает вертеться, как огненное колесо фейерверка, вокруг воображаемой оси и не распадается искрами в дыму счастья, — вот тогда мы блаженствуем, тогда расцветаем.

То, что вы называете содержанием, для нас только развлечение, приятная приправа, не более того. Нам и в голову не приходит предпочесть одно содержание другому. Нас не касается, политике или похоти, предпринимательству или благотворительности вы предаетесь со страстью. А вот насколько сильна ваша страсть, это для нас важно.

Для каждого «да» у вас есть свое «нет», у каждой ценности — антиценность, да к тому же еще между ними — переходы в несколько уровней. «Да» вы называете добром, а «нет» — злом, или наоборот, и очень озабочены тем, чтобы ваша страсть всегда была на стороне «да» или на стороне «нет». А нас это не очень интересует. Вся эта клоунада доставляет нам удовольствие, но я заверяю тебя, что достойному и благородному человеку мы выражаем свое уважение не чем иным, как оставляя его в покое.

Только не думай, что мы здесь, на стене, развлекаемся и спокойно ожидаем того, что прилетит к нам наверх от возбужденных человеческих сил. Если бы это было так, наша жизнь была бы скучна. Ведь вы привыкли, чтобы все шло своим ходом и возможности так и оставались возможностями. Выжимать из себя все, полагаете вы, слишком тяжело, да и просто некрасиво. Вы так бы и проспали все ваши шансы, если бы не было нас. Мы спускаемся к вам, превращаемся в предметы и мысли. Чтобы на нас не обращали внимания, мы смешиваемся с вами, мы искушаем и испытываем вас. Довольно забавное выражение, не правда ли! Сначала мы вкушаем пищу и если мы находим ее безвкусной, то тогда мы и занимаемся «ис-кусением». Мы выманиваем ваши страсти из их убежищ. Мы подогреваем ваши способности и чувства. Мы вас актуализируем. Разумеется, делаем мы это ради себя, но сознайся, что между делом и из вас получается что-то толковое, а иначе...

Среди вас много таких, которые воображают, что их искушают совершить нечто греховное. Это зависит от вас самих, значит в вас нет никаких иных способностей, кроме тех, которые называют грехом. В действительности же мы совсем не специализируемся: мы хотим, чтобы ваша

potentia реализовала себя как actus — не более того; на ваши хитрости мы не обращаем внимания.

Разумеется, — я не могу скрыть это от тебя, — и у нас есть слабое место. Мы теряем силы, занимаясь искушениями. Искушать людей — это не детская игра. Мы бросаемся с головой в каждое новое предприятие, и оно поглощает нас целиком — со всем, что мы имеем и можем. Мы могли бы сказать, что тратим все наши силы, — ты можешь понимать это так буквально, как тебе нравится, все равно ты не поймешь достаточно точно. Ну да, за этим следует наслаждение, и оно неотвратимо... А когда оно закончено, мы падаем без сил. Это не подобно вашему сну — это распад, распыление, волна, которая уносит нас прочь. Все это длится до тех пор, пока нас не захватывает стремление к новому наслаждению, и оно собирает нас снова в единое целое. Теперь ты можешь себе представить, насколько все взаимосвязано в нашей жизни. После каждого приключения в памяти едва ли остается смутный образ. Каждый раз мы начинаем жить заново, и это выглядит так, как если бы такое начало оправдывало себя, — но все же это спорный вопрос.

Итак, мы каждый раз начинаем заново, но мы не можем вспомнить подлинное начало нашей жизни. Да, мне действительно кажется, что у нас не было того, что называют началом. Временами меня охватывает тяжелое ощущение, что я существовал всегда. Но конец у нас есть, это бесспорно. В один прекрасный миг меня охватывает чувство наслаждения, которое поглощает меня целиком и больше не отпускает. А до этого момента... Разумеется, это грустное блаженство, не могу этого отрицать.

Однажды среди нас появился один демон, который... Человечек, я расскажу тебе об этом, несмотря на то что я почти не верю, что твой разум способен это вместить. Это длинная история... Но ты так серьезно смотришь, как будто бы ты мог... ну, да ладно!

Так вот, тот самый демон был всегда недоволен. Ему не хватало именно связи. Мгновения — его тошнило от мгновений, если невозможно было переходить от одного к другому с высоко поднятой головой. А тут лежишь пластом, хуже чем пьяный. Он больше не хотел подчиняться этому бессмысленному ритму мощи и бессилия. Только не думай, что он повел себя как ваши знаменитые бунтари и бросил вызов какому-то богу. Нет, как только он понял, что больше не в состоянии подчиняться, он просто встал и вышел из потока времени. А по другую сторону этого потока он опять сел.

И вот он сидел, и все происходящее его не касалось. Больше не было наслаждения, но не было и пустоты — там, где больше нет биения времени, нет пустоты, только тишина. И он, прежде недовольный, обретал новые силы, внутреннюю собранность, выносливость. Уверенность его

росла, как прирастают годовые кольца на дереве. Его сила крепла и крепла, пока он не осознал, что больше ей ничто не грозит. И теперь он полностью овладел собою, и ему казалось, что и мир в его власти. Ты бы видел, каким гордым он вернулся назад во время.

Он снова принялся искушать людей. А поскольку его сила стала велика, то каждое искушение доводило человека до исступления. Любая его способность развивалась до предела, любое вожделение — до крайности. А крайность в человеке — ты это, наверное, знаешь — это необычная вещь. Говорят, что мало на свете настолько необычных вещей. Крайности в человеке обладают творческими способностями. И это опасно. Крайности создают характер, сущность, бессмертие. Но они же увлекают человека в безумие и самоуничтожение, одновременно превращая последние минуты в вечность. И наше наслаждение не может исчерпать это, вся сладость так и остается неиспробованной — это вечно недоступный нам остаток. Он, демон, который возвратился, мог наслаждаться, несмотря на этот остаток, — раньше, чем он вышел из потока времени. А теперь он не мог этого делать. Теперь, когда на него легли ладони тишины, в нем произошло нечто такое, что было важнее наслаждения: он почувствовал неисчерпаемое, которое коснулось его. Он страдал, жар охватывал его. Это был вовсе не тот недовольный господинчик, каким он был прежде, он был несчастен, он чувствовал себя во власти высших сил. Чем выше поднимались его искушения по лестнице творчества, тем несчастнее он становился. Его сила, его способность к наслаждению не угасали, напротив, они росли от раза к разу, никогда не умаляясь. С высоко поднятой головой он шагал от одного приключения к другому, но с каждым разом остаток все сильнее жег его. Все более примитивным казалось ему такое наслаждение, которое можно удовлетворять только интенсивностью насыщения. Все сильнее влекло его глубинное видение. Понять бы этот остаток, понять его качество, овладеть им! Но творчеством демон может овладеть так же мало, как и глубинным видением.

И в то время как на земле грандиозная игра моего собрата порождала ужасные конвульсии, небывалые триумфы, чудовищные катастрофы, а влекомая в эмпирии и подстегиваемая душа человека оказалась способна на высшие достижения, в то время как гигантское жертвоприношение, в котором смешались мятеж и красота, произвол и милость, огненным смерчем вознеслось к искусителю, он понял: «То, чем я наслаждаюсь, это не есть сущность, сущность ускользнула от меня. Сущность дана этому маленькому человечку, которым я играю. В то время как я им играю, я оживляю и пробуждаю в нем его сущность». И из него вырвалось: «Я хочу стать человеком — результатом творения, игрушкой, — я хочу бес-

смертия, я хочу обладать творческой душой! Потому что бессмертие – он понял это – есть не что иное, как творческая душа.

Демон в моем сне очень изменился. Его ухмылка превратилась в беспомощную улыбку, похожую на первую улыбку ребенка, а его резкий и скрипучий голос звучал теперь подобно голосам виноградарей, певших при сборе урожая старинное погребальное песнопение.

Глубокий сон покинул меня, и миры, которые переплелись в нем, распались.

Пер. А.Н. Портнова